

# Там, где дом моей матери

(фрагменты книги)

## Сад на Случевской горе



Любимым местом моего отдыха в детстве, вобравшим самые ранние, неосознанные впечатления, был сад Салавата Юлаева, тот самый, который сейчас почему-то называется именем Н.К.Крупской. Прежнее название кажется мне более оправданным, может, потому, что оно было для меня первым, может, потому, что к нему, по самому краю горы, петляя и извиваясь между лепившимися друг к другу кособокими домишками, сверху сбегала узенькая кривая улочка Салавата. В тридцати метрах от входа в сад, в одноэтажном дощатом барачке, жила бабушка Оля с дядей Стасей и мы всей семьей ходили к ним на праздники. Обычно это случалось два раза в год - на Пасху и на Рождество. Собиралась шумная компания родственников, пили, ели, веселились и плясали под хриплый патефон. Комната была крохотная, народу набивалось много и детей отпускали погулять, чтобы не мешали взрослым. И мы убегали в сад.

Сад был замечательным - расположенный на высоком, круто спускающемся вниз, берегу реки Белой, он являл собою органичное соединение изящной парковой культуры и редкого по красоте пейзажа. Первые его организаторы сумели почувствовать и сохранить обаяние местности, засадив холмистое пространство попеременно дубом, сосной, березой, кустами белой и розовой сирени, и проложив между ними аккуратные, посыпанные гравием, дорожки, которые, кружа в тени сросшихся деревьев, неизменно приводили к прохладной воде. Деревянные беседки, искусно спрятанные в разных уголках сада, словно сторожевые дозорные башни, прекрасно оттеняли живописную панораму - с них открывался захватывающий вид на бескрайние забельские

дали. Но главным приобретением парка, его визитной карточкой, был так называемый "висячий" мостик, подвешенный на стальных канатах и соединивший между собою два неприступных скалистых холма. Нет большего счастья для мальчишки, чем стоять на нем, прыгая и раскачиваясь, с волнующим трепетом в груди ощущая под собой пугающую пропасть. Вдоволь наигравшись в догонялки и прятки, мы веселой гурьбой сбегали к реке смотреть, как тупоносые катера упрямо тащат против течения тяжело нагруженные песком баржи, отчаянно сопя и разрывая воздух пронзительными резкими гудками. Долго потом расходились по воде громадные волны, пенясь и чавкая, захлестывая одинокие рыбацкие лодки, и, теряя прежнюю мощь, в конце концов припадали из последних сил к неровному, в гальках, берегу. В эти минуты мы особенно любили бросать в воду плоские камешки, соревнуясь, у кого сколько получится всплесков и чей камешек продержится дольше. А на небе ни облачка, погода - благодать и ощущение безграничной свободы и счастья переполняло нас. Вот так же, еще до войны, бегал по этим косогорам и мой отец, беспокойный выдумщик и озорник, страстно влюбленный в уфимскую природу, только тогда сад назывался Случевским, и напротив него, возле Оренбургской переправы, еще гордо стояла каменная Троицкая церковь и густой, благодушный гул колоколов слышен был по всей старой Уфе.

Время беспристрастно кладет свою печать - нет уже Троицкой церкви, и на месте переправы вырос красивый автодорожный мост, стальное полукружье которого, взлетая и растворяясь в прозрачно-голубом небе, давно стало приметой новой, растущей столицы. Сад же понемногу приходит в запустение - ветшают и разрушаются беседки, не в силах противостоять натиску цивилизации, засоряется и редет некогда пышный зеленый массив, нуждающийся ныне в серьезном уходе, но висячий мостик все так же привлекает повышенное внимание детворы и альпинистов, избравших обрывистые склоны для своих тренировок. Белая оделась в новую набережную и извилистую шоссейную ленту бесцеремонно вторглась, замелькала у подножия присмирившего холма, отрезав сад от реки и лишив его естественного выхода к воде. Случевская гора потеряла былую привлекательность, куда-то ушло, пропало ее прежнее обаяние и только отлитые из добротного каслинского чугуна, торжественные ворота на роликах напоминают о красоте и величии одного из первых и любимейших горожанами мест отдыха.

# Ушаковский парк



В детстве мне больше всего хотелось побывать в цирке. Одно это слово завораживало, заставляя волноваться и трепетать, и в голове проносились самые невероятные фантазии, будоража хрупкое и неустойчивое воображение. Когда цирк приезжал в наш город, о чем с каждого угла кричали яркие, красочные афиши, я буквально не находил себе места, наседаю на отца с просьбой сводить меня на цирковое представление. И вот мы уже идем по улице Ленина, проходим шумное, звенящее трамвайное кольцо, двухэтажный "Детский Мир", всегда казавшийся мне огромным и необъятным, парикмахерскую, куда меня отправляли насильно стричься под полубокс, оперный театр, тенистую аллею с бюстом Пушкина, и увидев издали высокий брезентовый шатер, я подпрыгиваю и хлопаю в ладоши - Ура! Цирк приехал!

Отец рассказывал позднее, что после каждого представления я убежал к клеткам с экзотическими животными и не смущаясь резкого, неприятного запаха, подолгу простаивал там, рассматривая львов, тигров, слонов и мартышек. Ему стоило большого труда оторвать меня от этого занятия - я капризничал и упрямялся, и только когда сгущались сумерки и цирк закрывался, размазывая по щекам слезы, я вынужден был подчиниться. Так состоялось мое знакомство с парком Матросова, где позади деревянного кинотеатра "Идель" на ровной травяной площадке и раскидывал свой шатер, взлетая в небо, кочующий цирк Шапито.

Мне кажется, я так хорошо знаю этот парк, что хоть сейчас могу пройти по нему с завязанными глазами - прогуляться по его нешироким аллеям, вдохнуть аромат вековых деревьев, посидеть на террасе милого сердцу летнего кинотеатра. Где-то далеко спешит, суетится, гудит встревоженным ульем город, а здесь тихо и спокойно, неторопливо и ровно текут фонтанчики, бранятся привычно воробьи и словно время остановилось и

замерло. Невозможно не проникнуться этим настроением, уже самый вход, торжественный и великолепный, настраивает душу на особый лад. А посреди парка, в самом центре, на возвышении - детская фигурка Матросова в минуту отчаянной смелости, в шинели, каске и с автоматом в руках. И у подножия памятника - цветы, цветы, цветы...

Вся моя студенческая жизнь прошла в этом парке, здесь мы бегали зимой на лыжах, сдавая физкультурные нормативы, ходили пестрой, праздничной толпой на первомайские и ноябрьские демонстрации, сидели по вечерам в уютном кафе с друзьями и, казалось, пройдут года, десятилетия, а парк, старинный и вечный, будет все так же радовать взор и прятать влюбленных под своей густой, зеленеющей листвой.

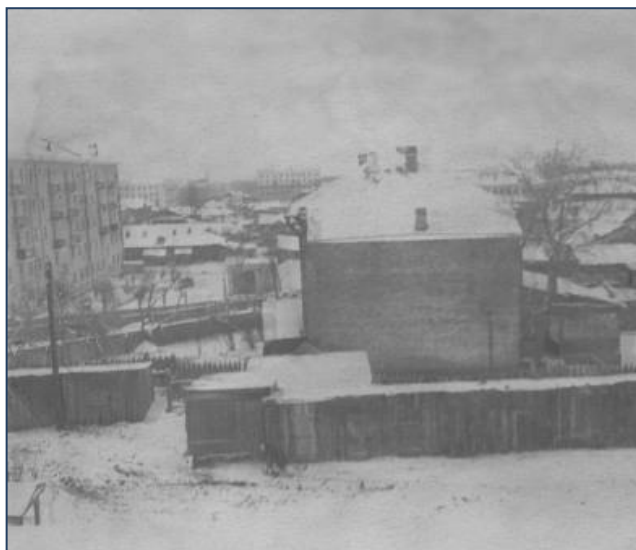
В восьмидесятые годы, предчувствуя большие социальные перемены, городские власти начали беспрецедентную в истории парка реконструкцию, обернувшуюся на деле его уничтожением. Поговаривали, что парк хотели назвать именем Шакирова, тогдашнего первого секретаря обкома, и в центре предполагалось поставить его бюст, за "особо выдающиеся заслуги" перед державой. Не хватило малого - второй звезды героя соцтруда, дающей право на увековечение - и замысел провалился. То, что осталось от парка и носит теперь почему-то имя Ленина, никак не укладывается в это понятие, скорее, это сквер, от английского слова square, что означает площадь, площадку, или по-нашему пустырь, ибо разрушены неповторимого своеобразия парадный вход, кинотеатр "Идель", летнее кафе, уютные, милые фонтаны, и, что печальнее всего, узорные чугунные ворота каслинского литья на заднем фасаде парка. Восстановленный по требованию общественности на прежнем месте памятник легендарному уфимцу ничего не добавил к облику пустующего ныне места отдыха, насквозь продуваемого ветрами, дымом и копотью проходящих мимо машин и автобусов.

Мог ли подумать губернатор Ушаков, затеявший первый в городе публичный парк, что его детище будет так быстро и безрассудно разрушено? Думал ли я, что от мест моего детства, связанных с этим парком, через тридцать лет не останется ничего?

Шумят вековые деревья, устало вздыхая, качают седыми головами, словно спрашивают: - А что же с нами будет? Что будет дальше?

Мне нечего им ответить...

## Детский дом



Одной из достопримечательностей нашего двора, что так удачно прикрыт от любопытных посторонних глаз высоким, желтым пятиэтажным домом 32 по улице Маркса, была длинная, нескончаемая гряда сараев и гаражей, по чьим неровным и кое-где прохудившимся крышам мы так любили бегать ребятей в детстве. Владельцы этих построек гоняли нас, как могли, но разве за ребяташками уследишь! Среди бойких и задиристых дворовых мальчишек я не отличался ни ловкостью, ни тем более физической силой, но старался все же не отставать, силился, как мог, и маяться мне приходилось чаще других. В один из таких моментов, когда, запыхавшись, на заплетающихся от усталости ногах, пытаюсь в который раз догнать безнадежно убежавших вперед ребят, я вдруг запнулся об выступившую вперед доску и упал, разбив колено и разодрав новые, только что купленные штаны. Было больно и очень обидно, из ссадины текла струйкой кровь, но плакать было нельзя - засмеют! - и я присел на корточки, делая вид, что отдыхаю, хотя эта беготня мне давно уже надоела. Внимание мое привлек соседний двор. Я знал, что там детдом, но слово это всегда связывалось для меня с обычным детским садом, куда мамы водят своих детишек и оставляют, пока заняты на работе. Сам я в детский сад не ходил, мама смотрела за мной до школы, но смутное представление об этом все же имел. Поэтому детдом не возбуждал во мне какого-то особого беспокойства или любопытства. Сейчас же, присмотревшись, я заметил некоторые странности - на всем, что находилось в соседнем дворе, яркой краской были сделаны крупные надписи. Меня это удивило и насторожило - ну зачем, скажите, на детской скамеечке рисовать - скамья, на домике - дом, на ограде - забор? Это было непонятно и мне поскорее захотелось узнать, в чем тут дело. Подсказка пришла сама собой. Во дворе послышался шум, хлопнула дверь и группа детей ровным, аккуратным строем вышла и тихо расположилась на детской ухоженной площадке. Они играли молча, не ссорясь и не переговариваясь между собой, и во всем этом была какая-то

неправда. Мне стало не по себе и чтобы отогнать закравшийся в душу страх, я начал громко говорить с собою и даже хлопнул раза два в ладоши. Вдруг один из них, коротко остриженный (кажется, они все были пострижены под полубокс), болезненного вида мальчик поднял голову и, увидев меня, бросил свое занятие и подошел к высокому забору, разделявшему наши дворы. Возникла долгая, напряженная пауза. Я спросил, как его зовут, сколько ему лет, но он не отвечал и только неподвижно, не отрывая взгляда, смотрел на меня. Лицо его изображало мучительную попытку понять, что от него требуют, наконец, исказившись в гримасе, оно задержалось и мальчик что-то радостно и невнятно промычал. Я вскрикнул от ужаса, все это время я следил за пареньком, ожидая, что последует дальше, словно замороженный и не в силах сойти с места, и опрометью кинулся бежать домой.

Так состоялось мое знакомство с глухонемыми детдомовцами, жившими по соседству с нашим двором.

После этого случая я опасался подходить к забору и если бегал с ребятами по крышам, старался не глядеть в их сторону. Однако в душе моей происходила незаметная работа. Я уже знал, что на свете есть инвалиды (однажды я видел безногого, сидящего на сколоченных крест-накрест досках на колесиках и передвигающегося с помощью рук - он был одет в какое-то тряпье и был грязен и космат), знал, что существует смерть и побаивался ее, хотя и не понимал, что это такое, но все равно долго не засыпал по ночам, со страхом думая, что засну и больше не проснусь, но с глухонемыми детьми я прежде не сталкивался.

Как-то мы с ребятами играли в футбол и сильно пущенный мяч, отскочив от трансформаторной будки, частенько служившей нам воротами, залетел на территорию детдома. Меня, как младшего, послали за мячом и я, подбежав к забору, к тому месту, откуда была вынута одна доска, дальше не пошел и громко прокричал:

- Мяч, мяч подайте!

- Чего ты кричишь, они же немые! - рассмеялись мне в спину ребята.

Увлеченный игрой, я ничего не слышал.

- Ну вы что, не слышите, - мяч, мяч! - и показал рукой, что нужно сделать.

Видимо, детдомовцы увидели меня, потому что один из мальчиков обернулся и удивленно разглядывал воздушные знаки, которые я усиленно чертил рукой, пытаясь объяснить, что мне от них нужно. Наконец, он сделал неуверенный шаг по направлению к мячу, лежавшему от него в трех метрах, я радостно вскрикнул, замахал руками и мальчик, словно что-то поняв, подошел к мячу, и, заулыбавшись, взял его в руки.

- Теперь кинь его, дай мне, скорей, - попросил я. Мальчик стоял, не двигаясь, с застывшей и однообразной улыбкой на лице.

- Чего ты там возишься, давно бы сам сходил! - донеслось с нашего двора.

- Да подождите вы, не видите - с немыми разговариваю! - отмахнулся я и продолжил свое общение с детдомовцем, который уже шел мне навстречу.

- Ну вот, молодец, хороший, все понял. Спасибо! - поблагодарил я, забрал мяч и хотел было уйти, но не смог, потому что на меня в упор, неподвижно,

тупо и внимательно, смотрели черные влажные глаза, ожидая, видимо, от меня иной благодарности. Так порою собака рабски-ласково смотрит на хозяина и униженно виляет хвостом, ожидая от него подачки за правильно выполненное поручение. И мне вдруг стало так жалко детдомовца, так жалко, что душа моя обнажилась и задрожала, лишившись привычной защитной оболочки, стало стыдно и больно, но что я мог сделать для него, сделавшего мне шаг навстречу из своего далекого, чужого и беззвучного мира? С собой у меня не было ничего, что могло бы обрадовать мальчика, и я, протянув руку, просто погладил его по волосам. Выражение его лица вмиг изменилось, черты разгладились, помягчели, весь он как бы стал добрее и человечнее и на мгновение мне показалось, что предо мною обычный мальчик, такой же, как и мы все.

- Серега, ну долго ты там? - окликнули меня со двора и я, взволнованный, побежал к своим.

Больше я не боялся детдомовцев, их странного и необычного поведения, привык к ним и когда встречал на улице колонну молчаливых детей в одинаково серых и застиранных костюмчиках, не сторонился, а, напротив, старался разглядеть их хмурые и задумчивые лица, найти в них хотя бы черточку похожести на нас и если мне это удавалось, я радовался, ощущая себя частицей необъятного в своем разнообразии мира, в котором мы все обречены жить.

## **Все васильки, васильки, сколько мелькает их в поле**



Нет на свете людей, которые бы в той или иной степени не были виноваты перед своими родителями, предшественниками, давшими нам право на жизнь. Это дарованное свыше право вселяет надежду и ожиданием счастья переполняет душу, теряя голову, мы проваливаемся в самую глубь лабиринта невзгод и прегрешений в погоне за призрачным благополучием, забывая обо всем и обманывая себя и своих близких.

Я - один из тех, чья вина перед матерью тяжела и неизгладима. Вспоминаю ее лицо, задумчивое и строгое, печальное, которое сразу преображалось, стоит только на нее взглянуть, украшаясь доброй и застенчиво-милой улыбкой. Создавалось впечатление, что она совсем не умеет сердиться, настолько мягкий и уступчивый был у нее характер. Нам с братом жилось привольно и легко, мама ходила за нами до третьего класса, как за малолетними детьми, кутая в ватные одеяла, борясь со сквозняками и бесконечными простудами, отпаивала малиновым вареньем и душицей, и терпеливо перетаскивала нас на себе каждую субботу после купанья, опуская в теплую, нагретую постель. После переезда мы жили на первом этаже, пол был холодным и мама, как могла, берегла наше здоровье.

Будучи впечатлительным и слабым мальчиком, я большую часть времени просиживал дома, общаясь чаще с книгами, чем с приятелями и моим кумиром был отец, работавший художником. Мама оставалась как бы в тени. - "Слова из тебя не вытянешь, дядя Стася родимый," - отшучивалась она в ответ на мое угрюмое молчанье, когда я приходил из школы и неохотно делился с ней новостями. Я сильно картавил, с трудом давались мне шипящие звуки, и мою сбивчивую и невнятную речь мало кто мог разобрать. Над этим изъясном все смеялись, особенно усердствовали дворовые мальчишки, дома от насмешек спрятаться было некуда и я отмалчивался, избегая длительных расспросов. Мама жалела меня, защищала от нападок неумной ребятни и постепенно ко мне прилепилось прозвище - "маменькин сынок".

Сколько помню, мама все время что-то делала - стирала, гладила, шила, готовила, убиралась по дому и беспрерывно штопала старые носки и чулки. Их была у нас целая груда, два больших выдвижных ящика старинного шифоньера были заполнены доверху изношенным тряпьем. Откуда что бралось?! По долгим зимним вечерам, когда телевизоры были большой редкостью и все собирались возле репродуктора послушать радиопостановку или концерт легкой музыки, мама как-то незаметно, с улыбкой, при свете настольной лампы, починяла прохудившиеся носки. А они все рвались и рвались, протираясь в новом, неожиданном месте, и мама, вздохнув, - "На вас не напасешься," - принималась за повторную работу.

Если штопкой она занималась по необходимости и из экономии, то шить она любила. Не умея раскраивать материал, она тем не менее шила добротной и уверенно по готовым выкройкам, которые находила в журнале "Работница", и до школы мы с братом всюду появлялись в клетчатых маминых костюмчиках, по которым нас обычно и узнавали. Дома привычно и легко жужжала желтенькая швейная машина с ручным приводом, одна из первых



семейных покупок, и мама подолгу не расставалась с ней, старательно овладевая азами рукодельного мастерства.

Раз в две недели она затевала стирку. Стирка была большая и растягивалась на весь день, квартира наполнялась душным и влажным воздухом, в котором тяжело ощущался неприятный, колючий запах хозяйственного мыла. Мама кипятила белье перед стиркой в мыльном растворе, взгромождая на газовую плиту двухведерный алюминиевый бак, где рядом с бельем всегда плавало множество разноцветных обмылков. Стиральных машин еще не придумали и мама все перестирывала на руках, до мозолей сбивая натруженные ладони. Усталая, в мокром цветастом халате, она несколько раз на дню выходила во двор развешивать чистые простыни и пододеяльники. Многие хозяйки тогда сушили белье таким же образом и это считалось в порядке вещей.

Высушенное белье складывалось на обеденном столе и вскоре там же начиналась глажка. Первый утюг, который я увидел, был газовый, со съемной ручкой. Сделанный из цельнолитого куска металла, он докрасна нагревался на газовой комфорке, затем ухватывался деревянной ручкой и переносился в столовую. Мама обыкновенно работала с двумя утюгами и пока гладила одним, остывающим утюгом, второй стоял на огне. Потом она бежала на кухню и меняла утюги. Газовый утюг был значительно тяжелее электрического, это я запомнил на всю жизнь, когда уронил его на ногу при неудачной попытке использовать в качестве гантели.

Часто по ночам я просыпался от неяркого желтого света, слабо стелющегося по коридору, у меня сжималось сердце и, прерывая сладкий сон, я вставал и упрямо шел на кухню, подталкиваемый только одним желанием - почему мама столько работает, ведь кругом ночь и все уже спят!? Я старался ей как-то помочь, облегчить непосильную, непонятную мне женскую долю, кроме жалости, у меня ничего не было.

Нина Алексеевна Круль, в девичестве Овчинникова, родилась 11 мая 1927 года в Сибири на станции Алейск, что неподалеку от Барнаула. Бабушка Софья Павловна Белякова была уроженкой Балашова Саратовской губернии, росла и воспитывалась в крепкой семье зажиточного скорняка, училась в приличной гимназии, пока Советская власть не обратила на них свое внимание и семью раскулачили. Отец бабушки Павел Беляков, всю жизнь работавший на семью и трудом скопивший небольшое состояние, не перенес свалившегося на него позора, слег и вскорости умер, в бреду повторяя - "За мной придут, придут, должны придти". До последнего дня он надеялся, что ему вернут дом и хозяйство. Этого не случилось и пятеро детей, кто в чем был, оказались на улице. Братья разбрелись в Таганрог и Вологду, Софья вместе с сестрой Клавдией на свой страх и риск отправились в Сибирь, где и встретили свою судьбу. Иван Соколов, сын ярославского протодьякона, и Алексей Овчинников, недоучившийся гимназист из Петрограда, сосланные в Новосибирск за связи с классовым врагом, быстро нашли общий язык, подружились и в одно время сделали сестрам предложение.

Бурные двадцатые годы развели друзей - Соколова отправляют учиться в Ленинградский ветеринарный институт, по окончании которого он работает

на строительстве Турксиба - Туркестанско-Сибирской железной дороги, где ремонтирует главный и единственный тогда транспорт - лошадей и быков. Овчинникова, после определенных колебаний и учитывая руководящие качества и технические навыки, назначают директором МТС на станции Топчиха, куда он перевозит свою, уже расширившуюся семью.

Нагрянувшая война спутала все планы и хотя у Овчинникова имелась защитная броня, он в общем эшелоне отправляется на фронт, не желая отсиживаться в тылу. Смертельное ранение в живот в августе 1943 года под Сухиничами оборвало блестящую карьеру майора, к тому времени занимавшего пост ответственного секретаря полка.

А дома, в Топчихе, его ждали жена и четыре малолетние дочки. Мимо проносились поезда, груженные замерзшей свеклой и станционные пути были сплошь усеяны бесформенными красноватыми плодами. Люди собирали их и ели - свекла составляла главный рацион тогдашнего питания. Не всем это было по силам - две младшие мамы сестренки, мучась животом, умерли в раннем возрасте и не дождалась дня, когда семья вдовы красного командира получила от властей долгожданную поддержку - старую ялую корову Маньку, почти не дававшую молока, обменяли на молодую корову из колхозного стада по кличке Чайка. Это было как раз вовремя - оставшиеся в живых, Нина и Алла, впервые за долгие годы наелись досыта.

После того, как закончилась война, в 1946 году, бабушка по приглашению сестры переезжает в Уфу. Клавдия Павловна уже жила там и имела свой угол благодаря свояченице, бывшей замужем за Веретенниковым, тогдашним министром сельского хозяйства республики, и хотя Уфа была закрытым городом, для родственников делали исключения.

Я неясно помню детство, проведенное в доме номер девять по улице Ленина, но по-прежнему, когда в спешке прохожу мимо, что-то рвется в груди, я замедляю шаг, смотрю на дом и меня неудержимо тянет заглянуть вовнутрь, подняться на верхний пятый этаж, где мы жили, пройти на кухню и прислониться к узкому и длинному окну, выходящему на двор, где я подолгу стоял, замирая от страха и любопытства. И по-прежнему меня тянет в маленький сквер, что на углу Коммунистической и Ленина, где когда-то тихо журчали миниатюрные фонтанчики, ворковали непоседливые голуби, разыскивая хлебные крошки, и шумно бегали нарядные ребятишки. Мама рассказывала, что часто ходила с нами гулять в этот сквер, толкая впереди себя простенькую деревянную коляску.

Не знаю, до сих пор не пойму, что меня толкнуло на необдуманный поступок и заставило взять из маминого кошелька деньги. На улице стояло лето, знойный полдень, нестерпимо хотелось мороженого и взрослые мальчишки решили в шутку меня испытать - смогу ли я незаметно от родителей вынести из дома деньги. Мне было пять лет и я был горд оказанным доверием.

Осторожно, чтобы не разбудить задремавшую на часок маму, я на цыпочках пробрался в комнату и положил в карман десять рублей.

Реакция последовала незамедлительно - обнаружив пропажу, мама быстро установила виновника и, возмущенная кражей, потащила меня в отделение

милиции. Я не хотел идти, плакал и вырывался, но мама держала крепко, приговаривая, что вор ей не нужен и что сейчас она сдаст меня в тюрьму. Это было полной неожиданностью, я-то думал, что меня не станут наказывать и мне совсем не хотелось попасть туда, где ходили угрюмые люди в военном и лаяли непрерывно собаки.

Это был первый урок мужества и прямоты, который преподала мне моя мать, мягкая и стеснительная женщина. Сама она никогда не брала чужого и сердце ее было свободно от зависти и корысти.

Переезд в Уфу оправдал возлагаемые на него надежды - Клавдия Павловна выхлопотала сестре и двум ее дочерям освобождающуюся комнату в коммунальной квартире, где проживала сама, и вскоре мама поступает в кооперативный техникум. Однако стать специалистом ей не удалось. Еще будучи студенткой, она знакомится с отцом и, уступая его настойчивым ухаживаниям, выходит замуж, навсегда распрощавшись с профессией товароведа. Замужество сыграло роковую роль в ее жизни, мама как-то быстро смирилась, сникла, взвалив на себя тяжелый груз нескончаемых домашних хлопот и добровольно ограничив круг интересов детьми, мужем и его знакомыми. Спустя несколько лет трудно было узнать в располневшей, притихшей женщине хрупкую девушку с обворожительным взглядом, который когда-то сводил с ума молодых ребят и сокурсников по учебе. Кто возьмется описать трагедию, разыгравшуюся в ее задумчивой и тихой душе?

Я ничего этого не знал. Мне всегда казалось, что мама, простодушная и доверчивая женщина, которую мало интересовали события (она редко читала газеты и доверялась одному репродуктору), с трудом успевает за бурной, изменяющейся жизнью. Складывалось впечатление, что она поставила крест на своем развитии и отгородившись от внешнего мира, ушла в себя. Она была счастлива нами, своими детьми, до тех пор, пока это было возможно, пока мы жили вместе, одной семьей. Видимо, это и была вся ее жизнь с заботами и огорчениями, переживаниями и постоянными тревогами и которую я никак не мог понять. (Что толку теперь в этих признаниях? - ничего уже не поправить и маму не вернуть, как не вернуть назад промчавшегося мимо клубка жизни).

Снова и снова встает перед глазами полузабытый, выпавший из памяти эпизод - раннее прохладное июльское утро, я возвращаюсь домой после взбалмошной и бессонной ночи, проведенной с друзьями в общежитии института. Двор еще пуст, тишина, но солнце уже встало и словно прожектором, слепит глаза, тревожа и радуя. Подходя к подъезду, вижу на крыльце маму в домашнем халате и с ужасом вспоминаю, что не успел ее предупредить. Все, конец! - со страхом думаю и ноги, подгибаясь, сами замедляют ход. Мама неуверенно встает и делает шаг мне навстречу.

- А я и в милицию и в морг уже звонила, думала, тебя в живых нет, - вдруг заплакала она и в изнеможении опустилась на табурет. Оказывается, она просидела на этом табурете всю ночь, с надеждой и тоской, бессмысленно взглядываясь в обступившую темноту, и некому было ее утешить - отец в

командировке, а Володя уже жил отдельно.

- Мама, пойдем домой, неудобно, - я обнимаю ее за усталые плечи и отвожу на кухню, ставлю на плиту чайник.

Боже мой, сколько же я причинял ей страданий и беспокойства! А она все терпеливо сносила и гордилась моими успехами в учебе, часто повторяя, что, когда вырасту, то я непременно стану профессором, заработаю мешок денег и, конечно, полмешка отдам ей и она, наконец, разбогатеет. Не скажу, чтобы мы жили бедно, но такая уж у нее была поговорка.

Мама любила петь. Тихая, нескончаемая печаль слышалась в ее голосе, когда склонившись над швейной машинкой она подолгу напевала протяжные русские песни и мелодии своей молодости. Пела она трогательно, словно стыдилась своего голоса, бархатного, теплого, грудного, и своим пением буквально завораживала мое детское сердце. Казалось в этот момент, она понимает что-то такое, о чем нельзя говорить вслух, и которое можно неосторожно разрушить одним прикосновением и я задерживал дыхание, вслушиваясь в странные, непонятные слова:

Все васильки, васильки,  
Сколько мелькает их в поле!

Помню, у самой реки  
Их собирали для Оли.

Оля возьмет василек,  
Низко головку наклонит.

- Милый, смотри, василек  
Твой поплывет, мой утонет!

Милый тут вынул кинжал,  
Низко над Олей склонился.

Оля закрыла глаза,  
Венчик из рук покатился.

Наутро пришли рыбаки.  
Олю нашли у залива.

Надпись была на груди -  
"Олю любовь погубила".

Откуда она знала эту песню? Кто пропел ее маленькой, неказистой девочке в глухом сибирском городке и чем эта банальная история с душераздирающим финалом могла тронуть ее сердце? Может, своей неправдоподобностью (какая девушка не мечтает о яркой, романтической любви), или в этой песне ей пригрезился отзвук своей собственной судьбы, которая сложилась, наверное, не совсем так, как бы ей хотелось? А может, мама просто пожалела Олю, как жалела всегда убогих, несчастных и голодных. Помню, как у нас по воскресеньям отъедались на неделю вперед студенты из общежития Сергей Маслов и Коля Калмыков. Мама готовила всегда много (на весь подъезд, как подшучивал отец): суп - так полную кастрюлю, макароны с мясом - так целую сковороду, беляшей - полный чан с верхом. Все это уничтожалось в один присест и ничего не пропадало - рядом постоянно крутились приبلудные собаки и кошки.

Больше эту песню я нигде не слышал и запомнил ее с маминого голоса. В отношении автора стихов вышла вот такая история. Уже после смерти матери, за поминальным столом, Борис Домашников, известный художник, с которым отца связывала многолетняя, хотя и неровная, дружба, высказал предположение, что им мог бы быть Алексей Апухтин, русский поэт, автор нашумевшего в прошлом романа "Пара гнедых, запряженных с зарею". Обрадованный возможной находкой, я быстро разыскал сборник стихов Апухтина и, действительно, в стихотворении "Сумасшедший" обнаружил похожие строки:

Да, васильки, васильки.

Много мелькало их в поле.

Помню, у самой реки

Мы их собирали для Оли.

Правда, на этом похожесть обрывалась и дальше следовала совершенно другая история, не лишенная драматизма и психологической достоверности, чего, к сожалению, не скажешь о самой песне, тяготеющей к простонародному, грубоватому напеву. Если предположить, что Домашников прав, то каким образом произошла эта странная, резкая трансформация, приведшая к полному изменению смысла? - это осталось загадкой.

В конце шестидесятых, когда мы с братом учились в старших классах, между родителями вспыхнула ссора, замешенная на ревности и былой домашний уют треснул по всем швам - в семье произошел последний и окончательный разлад. Чтобы как-то обеспечить старость, мама пошла на работу. Устроиться по специальности ей не удалось (навыки товароведа были утеряны) и ее приняли контролером на стадион "Труд", тот самый, где мы с Сашкой Ларионовым мальчишками бегали смотреть мотогонки, поболеть за Плеханова, Самородова и Кадырова. Теперь каждый день, кроме понедельника, она ходила на работу, то с утра, то во вторую смену - к обеду, терпеливо и добросовестно отстаивая положенные семь часов. Врачи обнаружили у нее повышенное артериальное давление (180 на 120) и мама часто жаловалась на головные боли, спасаясь только черноплодной рябиной. Ей была противопоказана стоячая работа, но другой работы не было и приходилось мириться. Когда мы закончили школу и поступили в ВУЗы - я в авиационный, Володя в БГУ (на третьем курсе он женился и переехал жить к родителям жены), у мамы появилось свободное время и она пристрастилась читать. У нее вспыхнула горячая любовь к Бальзаку, которого она читала и перечитывала неоднократно. Я посмеивался над ее тягой к чтению, а она редко говорила о прочитанном, видимо, не желая быть в тягость лишним разговором. Я неуважительно относился к ней, спорил по мелочам, доказывая свое, и она соглашалась со мной во всем, теряя последние остатки гордости и достоинства. Этого не объяснить, когда любовь убивает себя и чувство, ее вызвавшее. Постепенно угас, потерялся интерес к жизни, особенно, когда отец ушел к другой женщине.

Не могу забыть, как отплясывала она в новеньких румынских туфлях, не стесняясь своей полноты и радуясь нежданной и красивой обнове. Эти туфли

я купил ей в Москве, в универмаге на Новослободской. Не суждено ей было ходить в них - через два месяца, двадцатого ноября 1989 года, мамы не стало. Она скончалась одна, тихо и безропотно, в пустой квартире, не дождавшись никого и не сказав своего последнего слова. Бессмысленно протестовать или возмущаться - не нам решать, кого впустить в этот мир, а кого отправить на вечный покой. Мы как те васильки в поле и у каждого свой час, когда Господь, вздохнув, сорвет последние лепестки - пора!